

Глеб Иванович Успенский

# Старьевщик



# Глеб Иванович Успенский

## Старьевщик

### Серия «Столичная беднота», книга 1

*Текст предоставлен правообладателем.  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=664675](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664675)*

#### **Аннотация**

«...посреди двора стоит старьевщик. В теплой дубленке, в теплом картузе и валенках, он не боится холоду и поэтому не спеша попевает свою песенку:

– Сстаррова тряпья... старых сссапагов нет ли продавать?

Попоеет-попоеет, поправит подмышкой аккуратно сложенный кулечек и поведет глазами по окнам, преимущественно заглядывая или вверх под крышу, или вниз в подвал, откуда печально смотрят эти микроскопические продолговатые оконца, летом сплошь забрызганные грязью, а зимой скрывающиеся за напухшею грудюю снега, льду и сосулек. ...»

# Содержание

Примечания

23

# Глеб Иванович Успенский

## Старьевщик

### *(Из московской жизни)*

Зима, жгучий мороз.

Задолго еще до первого колокола, до первого визга извозчичьих саней по закаленному лютым морозом снегу начинается жизнь на столичном дворе. В грязных клетушках, в нижних этажах, где гнездятся сапожники и портные, напоминающие миру о своем существовании скромною вывеской, уставившейся своим золотым сапогом или растопыренными ножницами куда-нибудь в стену, в кучу дров или в такой угол, куда с незапамятных времен не забредала ни единая человеческая нога, – в этих-то сырых подземельях, обдающих свежего человека какою-то кислятиной вместо воздуха, прежде всех просыпается людское горе, с вечера «звонко» залитое в кабачке под известным заглавием: «Уединение», «Мечта», «Перепутье». Просыпается оно в тощей фигурке сапожника Сидора Иванова, портного Ивана Сидорова и, запахиваясь рваным халатом, сквозь который мороз запускает свои колючие, как иглы, лапы, ежась, бежит опохмелиться, «поправиться», обыкновенно пуская ребром последний пяточок, а за отсутствием его – собственный жилет, сапожную колодку, женин платок и вообще все, что ни

подвернется под руку. А навстречу ему уютное пристанище с отрадной надписью: «распивочно» давно уже распахнуло свои гостеприимные объятия и ежеминутно погребает за своей почерневшей дверью весь этот болеющий люд, испугавшийся при дневном свете собственного безобразия и старающийся куда-нибудь скрыться даже от самого себя. Этот же внутренний испуг заставляет до свету убраться со двора увлеченную юнкером Тесаковым камелию, вчера же претерпевшую множество оскорблений от высоконравственной хозяйки, у которой господин Тесаков нанимает комнату и которой уже давно ничего не платит. Виляя своею измятою юбкою, нетвердою поступью бежит она через двор и, выйдя за ворота, направляется в сторону «Крымского ада»<sup>1</sup>.

Где-то ударили к обедне. Жизнь на дворе шумит сильнее и сильнее: тащится с салазками молочница; со скрипом въезжает водовоз вместе с бочкой, составляющей как бы один довольно объемный кусок льду; медленно плетется на дровнях с угольями весь почерневший от соседства с ними мужик и, став посреди двора, громко кричит: «уголь!», выставляя при этом свои белые, как снег, зубы. Просыпаются рачительные хозяева и спешат на рынок, причем, выйдя за ворота, крестятся и кланяются на все четыре стороны. Просыпается харчевник Кузьма Шестов и выкатывает собственную трехобхватную особу на крыльцо, находя почему-то нужным по-

---

<sup>1</sup> «Крымский ад» – название трактира близ улицы Грачевки (упоминание этой улицы было в первоначальной редакции рассказа).

чесаться непременно в виду всей улицы. Он так толст, тучен, жирен и тепел, что от него идет как бы дым и пар, в то время как исхудалого оборванца жжет, щиплет и душит лютый мороз. Из-под извозничьих полозьев несется неумолкаемый визг и как бы какой-то бесконечной визгливой струей вьется над всем городом. Из труб медленно ползут кверху столбы дыма, застилая собою небо, и сквозь эту дымную занавеску тускло смотрит, колеблющимся пятном, красное солнце морозного дня.

В это время посреди двора стоит старьевщик. В теплой дубленке, в теплом картузе и валенках, он не боится холоду и поэтому не спеша попевает свою песенку:

– Сстаррова тряпья... старых ссаппагов нет ли продавать?

Попоеет-попоеет, поправит подмышкой аккуратно сложенный кулечек и поведет глазами по окнам, преимущественно заглядывая или вверх под крышу, или вниз в подвал, откуда печально смотрят эти микроскопические продолговатые оконца, летом сплошь забрызганные грязью, а зимой скрывающиеся за напухшею грудой снега, льду и сосулук.

Смотрит старьевщик, постукивает нога об ногу и снова тянет свою песенку, и поет он ее таким заунывным голосом, так плакуче, что ее слышит только та непроходимая голь-нищета, у которой вся надежда на существование – это старые голенища, да и то тогда только, когда за них сподобит господь заполучить копеек двадцать.

Где-то вверху открылась форточка, женский пискливый голос позвал старьевщика, и скоро он, шагая по грязной, обмерзлой лестнице, расспрашивал у добрых людей: «Как пройти в квартиру мещанки Слезовой?»

\* \* \*

Мещанка Слезова сама утверждала, что господь наложил на нее особый крест, который она должна нести до гроба. Крест этот она называла совестью.

– Наделил меня, батюшка милостивый, наделил! – говорила она. – И столь он, батюшка милостивый, наделил меня, что всякий может мне на шею сесть! – добавляла она, заливаясь горячими слезами.

Не носи она этого креста, ей не нужно было бы теперь сбывать оставшийся после покойника мужа хлам, потому что сама она с голоду не умрет: женщине много ли нужно? «Так, пожевала-пожевала что-нибудь всухомятку – и сыта». А на это, разумеется, хватит; стало быть, с этой стороны и толковать нечего. Но ее постоянно мучит постоялец, отставной прапорщик Волшебнов, непременно требующий обеда, да еще старуха Митревна, уже третий день проклинаящая, лежа на печи, и жизнь свою сибирную, и соседей, и хозяйку, – старуха, которая ежеминутно молит бога о смерти, и притом только потому, что в эти три дня ей не удалось потешить чайком свою ветхую утробу... Можно было бы уладить дело

и с этой стороны, можно было бы доложить Волшебнову, что уверение в благородстве хоть и важная вещь, но что в лавочке за него не дадут и ваксы на две копейки. Да и Митревну можно было бы посдержать, напомнив, что, «мол, я, Слезова, не из корысти держу тебя, не из корысти пою-кормлю, а только ради холода твоего да голода, соболезнаю твоему горю, от которого и самой некуда деться...»

Но, видно, так уже была устроена Слезова, что мысли о заступничестве за собственный карман она никаким образом не допускала близко к себе, и потому-то ежеминутно терзалась и голодным желудком прапорщика и жаждою старухи. В подобные минуты ей даже казалось, что на неё с укором смотрят и холодная печка, и пустые горшки, и согнутый на сторону самовар... «Что же ты, говорят будто бы эти враги, топи, что ль, меня? А! тебе нечего варить во мне, хозяйка тоже!.. Тьфу ты! вот что ты, а не хозяйка!..» А занятые третьего дня у соседки три куса сахара... Господи! – какими камнями лежат они на ее честной, правдивой душе!

Сообразив такое состояние людей, обитавших в кухне, читатель, может быть, поймет, что небесная помощь, в каком бы то ни было виде, здесь ждется всеми, и поэтому очень естественно, что старьевщика, как воплощающего в своей плутоватой фигуре эту помощь, приняли здесь с распростертыми объятиями.

– Куда тут? как бы кадушку-то не того... опрокинешь неравно! – говорил он, влезая в кухню и втаскивая с собою



тучу холода, которым и без того изобиловало жилище Слезовой. Шурша своим точно железным от мороза тулупом, на ходу зацепляя им ухват, сковородник и кочергу, старьевщик вступил в соседнюю комнатку, до того микроскопическую, что помещавшиеся в углу образа занимали чуть не целую ее треть. Тут же стояла кровать, а на стене болталось зеркальце, имевшее особенную способность стягивать все черты лица в одну точку, к концу носа.

Войдя, старьевщик произнес: «доброго здоровья!», уложил на пол свой мешок, шапку и рукавицы, обтер полою полушубка заледеневшие усы и холодно произнес:

– Продаете что?..

– Да, вот кой-что есть! – говорила Слезова, нагибаясь к полу и запуская под кровать палку.

– То-то, продавайте, я ноне добрый... Сейчас издохнуть!.. Такой милостивый, и-и-и!.. натошак не выговоришь... Меху нет ли? галунов? Пошарьте!

– На-кось, вот, сюртук... годится ли?

Принимая в руки сюртук, старьевщик окинул его зорким глазом «с одного маху», и, заглядывая в мельчайшие закоулки, напал на такие пятна, прожженные дырья и изъяны, которые Слезовой очень желалось бы спрятать... И вот от этой-то зоркости старьевщика каждая дыра на поле или на рукаве прожигала такую же дыру и в ее сердце.

Вскоре из-под кровати, при пособии палки и кочерги, которую орудовала старуха, появились на свет божий, вместе с

кучею сора и неизвестно откуда взявшегося пуху, старые, совершенно желтые панталоны покойного супруга Слезовой, Онуфрия Максимыча; потом заплесневелая бутылка с продавленной внутрь пробкой и, наконец, чей-то, бог весть каким образом попавший сюда, форменный картуз с зеленым околышем и разорванным козырьком. Все это будило в голове Слезовой забытое прошлое, поднимало и вихрем несло ее прошлые скорби. То представлялось ей, как покойник супруг-парикмахер, в видах барышей перебравшийся в Петровский парк на дачу, вдруг запил, запропал в городе и, наконец, совсем пропал без вести. А тут зима. Лес опустел, снег сугробами одел дорогу в Москву, а мороз уже успел проглотить углы в дощатой хибарке. Со слезами на глазах, завернув в полу заячьей шубки свою Лизу, которая теперь где-то в белошвейках на Дмитровке, бредет она, Слезова, в Москву, к Каменному мосту: «дескать, не распознаю ли у сродственников про Онуфрия Максимыча?» Ветер дует в упор, вязнут в сугробах слабые ноги, а идти далеко! Добрела. «Не у вас ли, Марфа Марковна, супруг мой?» А супруг, будто кругом виноват, смиренный такой, услышал из другой комнаты и кротко таково говорит: «А, говорит, Аксюша! ты это... здравствуй! виноват я, Аксюша!..» И присела она в то время на оконник и сидела ровно бессловесная, потому – и слеза нейдет, и слова выговорить нельзя... Или вдруг, – смешно сказать! – эти желтые панталоны, протертые на коленях и заплатанные синим тиком от жениной шубы, какую страшную сцену воскре-

шают они в ее памяти! Помнится ей, как вот в этих самых панталонах, над которыми старьевщик покатился со смеху, привезли Онуфрия Максимыча замертво. Подняли его добрые люди где-то на улице; а оттого он довел себя до этого, что не на добрые деньги вздумал гулять: пустил ризу с венчального образа, «раздел» его, батюшку, донага! И вот он в больнице; то хочется ему огурчика, то селедки, то кваску, – и Аксюша с каким-то особенным искусством, рождающимся только в пору высокой привязанности, умеет протащить ему эти продукты, утаив их от зорких глаз начальства, где-нибудь на груди, в концах головного платка или под полюю. «Виноват я, – говорит больной, – много я тебя, Аксюша, бивал понапрасну, ни за что, и много я у господнего престола должен ответу дать за мои буйства и кровопролития! Только прости ты меня, Аксюша, здесь, на сем свете, потому и без этого я, новопреставившийся раб божий, должен идти в муку вечную. А под подушкой, на Лизино счастье, узелок есть, и скопил я там, на ассигнации, сто рублей...»

И много-много еще!..

Осажденная этими воспоминаниями, Слезова с каким-то замиранием сердца расставалась с разным хламом, пробуждавшим в ней эти трогательные воспоминания и теперь валявшимся на полу кучей какой-то рвани. Старьевщик все принимал и даже старался ободрить хозяйку, видя, что она конфузится, подавая какой-нибудь шерстяной носок с дырявой пяткой или заплесневевший картуз: он надевал носок на

руку, утверждая, что из него очень легко сделать варежки; примеривал картуз, и примеривал таким ухарским манером, что даже Слезова не могла не улыбнуться, а старуха просто плюнула, проговорив:

– О, шут тебя возьми, пугало воронье!..

Наконец, сев на пол и подобрав под колени весь собранный скарб, старьевщик придавил его растопыренною рукою и произнес:

– Еще чего нет ли?

– Нет, больше ничего нету.

– Пошарьте!

– По комодам разве?

– Ну, по комодам... Галунов нет ли?

– Нет, галунов нету... Ничего больше нету!

– Ну, так, стало быть, сколько? Говори, мать, по-божьему?

– Что мне? Я по-божьему...

– Ты сам-от по-божьему-то! – произносит старуха, чувствуя потребность заступиться за Слезову, потому что теперь она уже не сомневается в возможности посидеть за самоварчиком.

– Мы всегда по-божьему. Мы люди, бабка, во как – одно слово!.. А я, милая моя, вот как: я свою цену даю, ты свою... Что же? разберем так: сертук этот самый, что говорить, очень он превосходен, и дадут нам за их милость двадцать копеек, а мы, значит, даем ему назначение – гривеник по той причине, как и нам самим преферанц надобен.

Так-то-с!

Все выражают крайнее негодование; но старьевщик, кажется, и не слышит этого и спокойно продолжает речь, примеривая картуз:

– Они теперича... Какое об них мнение? Мнение будет высокое! А цена тринка. Так ли, милочки мои?

Опять ропот.

– Да ты вот что: бог-то есть в тебе?

– Маменька! Бог во мне есть?

– Ан вот нету!

– Милая моя, мамочка! Поверь мне, есть! А что ежели что тринка, так чем же она не монета?

В это время в дверях показался постоялец, офицер, с взъерошенными волосами, в плисовом рваном халате.

– Ты! – обратился он к старьевщику, – купишь?

– Покажите-с!

– Что тебе, нюхать, что ли? Видишь, сабля!..

– Придется, и нюхаем... Только он, оружий этот, дешев.

– Как??.

– Ничего он для нас не стоит...

– Меррррзавец!

Постоялец исчезает.

– А то вот не купишь ли? – говорит старуха, вылезая из кухни.

– Какой товар?

– Пуговицы костяные...

– Много ль?

– Пара всего... Теперь таких пуговиц нету...

– Ну, стало быть, и пушай они дружка с дружкой... парочкою, стало быть, миленочка с миленочком!

– А гривну если?

– Гривну-у? гривну-то я за тебя, старушка, дам ли?.. И то ежели на распорку, коли дело будет. Вот как, балетная моя плясунья, по-нашему разговаривают-то с вами!

– Покупаешь? – произносит снова явившийся офицер.

– Никак нет, ваше сиятельство!

– Ну, подлец после этого.

– Должно быть, так!

– Сердит барин-от, – прибавляет старьевщик, прислушиваясь, как за Волшебновым хлопает одна дверь, другая и потом падает на пол кинжал.

Прапорщик свиреп: он быстро ходит взад и вперед; но немного погодя снова принимается рыться в тощем чемодане с тою же целью – продать что-нибудь старьевщику. Попадался ли ему старый эполет, сломанная шпора, покрасневшая пуговица с цифрами, – он все валил в кучу и назначал, по собственному мнению, самые умеренные цены, хотя в итоге образовывалась такая кругленькая сумма, которою прапорщик предполагал распорядиться самым милым образом.

– Сколько за все? – восклицает он через минуту.

– Да что, ваше благородие, я скажу так, что для нашего

брата вся это теперича ваша премудрость – ровно плюнуть да растереть.

– Вон отсюда! – завопил прапорщик, швырнув на пол весь свой товар, и исчез уж «навсегда».

В то время как в разочарованную душу прапорщика врывались терзающие мысли о том, отчего судьба не дала ему более широкой дороги, где бы он, не печалясь, как теперь, о трехдневном отсутствии водки, мог бы безмятежно покоиться под титулом штабс-капитана, разъезжать на рысаках, звонко покрикивать «пошел», обладать первой в Москве камелией, совершая все это на вдовьи капиталы купчихи Рыдаевой, – в эти плачевные минуты прапорщичьего негодования на судьбу, лишившую его всех только что изображенных благ, старьевщик с присказками и прибаутками валил в мешок все достояние мещанки Слезовой, вместе с старьем навеки погребая в этом же мешке и все ее воспоминания, все прошлые скорби.

– А что, хозяйюшка? – говорил старьевщик, вынимая из-за пазухи сверток сахарной синей бумаги, в котором сочно звякали медяки, – я у вас эту старушку, бог с ней, поторгую! – и он кивнул головою на старуху. – Именно правда, потому кожа у ее, у этой, у старухи... Рубь сорок да семь – рубь сорок семь пожалуйста-ко! Потому, говорю, кожа у этой, у старухи очень способна, и погоним мы ее на лайковые перчатки...

Слезова грустно улыбалась; но старуха едва ли что-нибудь слышала из слов старьевщика, потому что была совершенно

поглощена заботами о чае и хлопотала около самовара.

Через полчаса кухня Слезовой представляла несколько иной вид: сама хозяйка, слегка подрумяненная рюмочкой водки, поминутно совалась то к столу, на котором пыхтел самовар и не менее его пыхтела старуха, то к печи, где дымился котел, около которого тощее пламя единственного полена как-то подобострастно егозило и, казалось, хотело сжать его в своих объятиях, лишь бы только угодить Слезовой и поскорее вскипятить щи. В углу стояла соседка с рюмкой в руках, готовясь поднести ее ко рту, причем говорила Слезовой что-то очень утешительное, награждая ее в будущем всяким счастьем, – чего, в одно и то же время, желала и сулила ей также и старуха; но Слезова только вздыхала и полагалась во всем на власть божию. Не то было за перегородкой, в комнате прапорщика. Расстроенное воображение его не давало ему покою.

– Господи! господи! – взывал он в душе, – хоть бы что-нибудь!..

Соображая предстоящие барыши, плетется старьевщик по пустынному переулку. От нечего делать он может зайти в лавочку, где ему все друзья-приятели от мала до велика, почему он всегда смело может прибегнуть сюда и перехватить рублик-другой, без залога узла, делая это, конечно, только в тех случаях, если где-нибудь поблизости «лафа», то есть можно погреть руки около чьей-нибудь добротной шубы, салапа и вообще вещицы, на которую нехватает казны, разме-



щенной по всем карманам, во всевозможных узелочках, за-  
вертках, «портманеях» и тому подобных казнохранилищах.

Тут, в лавке, он потолкует с хозяином, дескать, «какие  
нонче времена тугие», сообщит, пожалуй, известие, что ка-  
кой-нибудь купец Столбов пожертвовал в приход колокол  
пудов в тысячу; пошутит с приказчиком, посочувствует ему  
в эротических подвигах на Цветном бульваре; одним словом,  
он может толковать обо всем и всегда, именно потому, что не  
толковать иначе, как «про все», невозможно в его звании и  
положении. «Такое наше дело, – говорит он: – человек ты за-  
всегда на народе, на самом на юру, – ну, и должен со всяким  
вступать в разговор; от этого-то я и могу во всем постигать».

Но всмотритесь пристальнее в эту плутоватую личность,  
сбросьте с обросшей «образины» старьевщика весь груз про-  
шедших лет, – и перед вами бойкий столичный мальчиш-  
ка; весь двор зовет его «юлой»; иные, впрочем, заменяют  
эту кличку «шилом», а собственный родитель не иначе име-  
нует сына, как «щенком». Усматривая в сынишке несколь-  
ко жульническую сообразительность и пронырливость, ро-  
дитель, резчик печатей Голодаев, умел в раннюю пору дет-  
ства направлять такие достоинства ребенка в собственную  
пользу: то поручал он щенку передать «полковницкой»  
кухарке Агафье, чтобы она вечером выходила на тротуар, да  
так, чтобы матка не заметила и чрез глупую его, щенка, го-  
лову не намылила бы, при сборище целого двора, и косма-  
тую голову самого родителя-изменщика. И щенок отлично

исполнял такое поручение! Или, в период голодания и холода, щенок отправлялся, напичканный разными наставлениями, за похищением где-нибудь щепок, дров.

– Ты, Миша, нахрапом! – говорил отец. – Ноне нахрапом не возьмешь, – к вечеру без головы останешься...

И нужно было видеть, как прыгало и трепетало сердце горемычного родителя, когда он усматривал все тонкие или, напротив, наглые сношения щенка с плотником, работающим около длинного бревна, протянувшегося чрез двор. Нужно было видеть также всю злобу разных квартирных хозяев и хозяек, приготовившихся было только что выступить в поход за этими щепками, уже отогревающими теперь семейство щенка. В этом негодовании на собственное простоволье никто из них не задумывался запустить в щенка кирпич, заржавленную задвижку, гвоздь, словом – все, что ни попадалось в руки. Но и от этого щенок умел «улизнуть».

Как ни прибыточна была для резчика Голодаева такая деятельность только что оперяющегося пройдохи, однако же нежелание предоставить сыну голод и холод своего неблагодарного ремесла заставило родителя искать ему более обеспеченную дорогу. И вот скоро Мишка-щенок – микроскопический портной. С плотно остриженными волосами, сквозь которые синеют желваки, только что полученные от собратьев по мастерству, как знак вступления в «новое» общество, прытко шныряет он с огромным утюгом, чтобы где-нибудь подсунуть его на чужую плиту. Дело у него так и кипит, и тос-

ковать о горькой доле ему некогда, да оно и не стоит: пусть бегают он босыми ногами по льду, без шапки и в одной нанковой рубашке, – он сумеет и согреться, прокатившись с разбегу по льду, или двинет кого-нибудь из своей братии плечом и тут же для собственной потехи лизнет горячим утюгом по снегу. Все у него кипит под руками! И вдруг, когда портных дел мастер только что хотел убедиться в том, что уже ремень и колотушка, в приложении к щенку, не имеют более никакого смысла и что с ним, щенком, нужно вести дело на другой манер, «из-под ласки», – в это-то завидное для многих время щенок страшно роняет себя, похитив какой-то жилет и прогуляв вырученные за него копейки на пряниках. За жилетом следуют панталоны, сюртук... А через неделю щенок уж на воле: он снова живет в обителище своего родителя, который теперь клянет его за опиванья и объеданья.

Обдумывая способы исправления сына, резчик Голодаев приходит к тому заключению, что теперь остается одно: *«драть его, шельму, до зеленого змия!»* Не медля ни минуты, с горестью и вместе любовью в сердце принимается он за венник, и тут-то происходит доморощенное врачевание от всех пороков и зол, во время которого из квартиры Голодаева, сквозь мельчайшие щели и скважины, несется вопль и стон несчастного, очевидно наводимого на путь истины. Вот после этого-то врачевания, спустя месяцев шесть, вы и встретили прежнего щенка на Кузнецком мосту; говорю – *прежнего* потому, что теперь вы *щенка* не узнаете – перед вами

уже такая личность, которую в Москве определяют одним словом: *чуйка*.

– Сударь, сударь! ваше сиятельство!.. – негромко и таинственно произносит «чуйка», догоняя прохожего.

– Что тебе?

– Пожалуйста на минуточку-с!

– Меня?

– Вас, вас!.. на секунд!.. за угол только!..

– Меня ли? почему ты меня знаешь?

– Как не знать-с! Что вы?.. Знаем-с, пожалуйста!

Прохожий идет, недоумевая и чего-то опасаясь.

– Ну говори, что такое?

– Покупка есть... Как бы кто не увидал!.. Магази́нская цепочка-с, «первый сорт»!

«Чуйка» оглядывается по сторонам и вытаскивает из-за пазухи какую-то цепочку, которая горит перед глазами прохожего и рассыпается искрами на солнце.

– Куда же ты ее прячешь?..

– Невозможно, вашскородие, никак: увидят... Сто цалковых стоит... сорок прощу.

– Да это краденая!

– Сохрани бог! что мне?.. В кутузке-то мне не очень желательно сидеть... по нужде продаю.

– Что-то неладно ты говоришь!

– Барин! барин! ваше благородие!.. куда же вы?.. Двадцать пять!..

– Десять!

– Что вы, ваше благородие! Обижать человека... Гаспадин, позвольте!

– Ну?

– Угодно двадцать рублей? не по-моему, не по-вашему?

– Ничего мне не угодно!

– Как ваша цена? Как же так, ничего не угодно?

– Пять целковых, она не нужна мне...

И прохожий идет.

– Эх, какой вы барин сердитый! – вяло произносит «чуйка». – Ну, пожалуйста, бог с вами... На чаек бы...

– Ну-ко, брат, оцени-ка, сколько заплатил? – говорит прохожий приятелю, показывая покупку.

– Пятачок?

– Что-о-о-о?..

В другой раз «чуйка» встретила вас у Иверских ворот. Под аркой, среди грохота и стука сотни экипажей, среди разнообразных криков и пения, доносящегося из часовни, как-то назойливо журчит речь «чуйки». Держа в руках книгу «Химический анализ», пачку конвертов и две-три палочки сургуча, она неотступно следует за каким-то купцом и ежеминутно дребезжит над самым его ухом:

– «Аннализ»!

Купец идет молча; но «чуйка» не отстает, она словно прилипла к нему: забегает вперед, егозит и тычет ему в самый нос свою книгу.

- Аннализ!
- Прочь!..
- Аннализ! особбенная книга-с!
- Прочь!..
- Пользительные советы!..
- Прочь, говорю!

Сцена этого рода обыкновенно оканчивалась тем, что иной прохожий находил необходимым позвать полицейского, а другой, соблазнившись достоинствами книги, покупал ее, тащил куда-нибудь на Ордынку, за Москву-реку, сажал за нее сынишку, с явным желанием вложить в его тучное существо какие-нибудь познания; но эта попытка, по обыкновению, никакого успеха не имела, а «Химический анализ» очень скоро находил приют в кухне и употреблялся на подстилку под кулебяки.

И вот, спустя год-другой, та же «чуйка», только сделавшаяся опытнее, старше и солиднее, ходит по дворам в виде старьевщика. Совершилось это перерождение в силу той же причины, какая родила на свет божий поговорку: «Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». И действительно, «чуйке» теперь много лучше: скитаясь по Кузнецкому, толкаясь у Иверской, она была воплощенная нужда, искавшая милости в каждом; а теперь эта же нужда, которой везде непечатый угол, сама гоняется за «чуйкой» и на долгие годы вперед сулит ей хороший кусок хлеба.

# Примечания

Весь цикл рассказов печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том первый. Третье издание Ф. Павленкова, СПб., 1889.

Рассказы, входящие в этот цикл, сначала неоднократно печатались Успенским как самостоятельные произведения. Цикл рассказов под названием «Столичная беднота» впервые был сформирован самим писателем в первом издании его «Сочинений» (т. I, 1883). Однако сюда вошли далеко не все рассказы 60-х годов на эту тему. Так, в сборнике Успенского «Глушь» 1875 года под заглавием «Из столичной жизни», кроме рассказа «Швеи» (в настоящем томе – «Первая квартира»), были напечатаны рассказы «Дворник» и «По черной лестнице».

Усилившееся после реформы разложение деревни и классовое расслоение крестьянства увеличили приток крестьян в город на заработки в качестве извозчиков (рассказ Успенского «Извозчик», 1867), дворников («Дворник», 1865), кухарок («По черной лестнице», 1867), швей («Первая квартира», 1866) и др. Эти выходцы из деревни еще тесно связаны с крестьянским хозяйством, и все заветные думы и заботы их направлены к деревне и оставшейся там голодающей семье. Беднота, ютившаяся на городских окраинах, привлекала к себе внимание ряда демократических писателей 60-х

годов. А. И. Левитов и М. А. Воронов объединили написанные ими рассказы на «трущобные темы» в сборнике «Московские норы и трущобы» 1866 года. Успенский в 1867 году тоже выпускает сборник «В будни и в праздник. Московские нравы». Однако по своему содержанию рассказы Успенского на эту тему отличаются от произведений Левитова и Воронова тем, что его интересуют не нравы люмпен-пролетариата, а материальное и социальное положение *трудовой* столичной бедноты.

### «Старьевщик»

Впервые рассказ напечатан в «Библиотеке для чтения», 1863, XII, и неоднократно, с небольшими стилистическими исправлениями и сокращениями, перепечатывался Успенским в сборниках «Очерки и рассказы» 1866 года (в разделе «Эскизы»), «Разоренье» 1871 года (в разделе «Мелочи») и во всех изданиях «Сочинений».

«Старьевщик» – первый рассказ, напечатанный Успенским в Петербурге, о чем он с гордостью сообщал родителям в письме 1864 года, взволнованный особенно тем, что в объявлении о сотрудниках «Библиотеки для чтения» на следующий год его имя (по алфавиту) стояло рядом с именем И. С. Тургенева.

«Старьевщик» является также первым из ряда рассказов писателя, рисующих городскую бедноту московских окраин,



обитателей подвалов и мансард.